

Леонид Андреев

# Сын человеческий



# Леонид Николаевич Андреев

## Сын человеческий

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=156856](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156856)*

### **Аннотация**

«В одном великорусском небогатом селе жил старенький шестидесятилетний поп, по имени отец Иван Богоявленский. О том, как началась его жизнь, о годах его детства и юности не мог бы рассказать никто: сам он за давностью лет все позабыл, а жена и дети, родственники и знакомые просто ничего не знали. И выходило так, будто у его жизни совсем не было начала – как не будет, вероятно, и конца. На коридор была похожа его жизнь, на длинный коридор, в котором множество глухих дверей: впереди открывается, а сзади захлопывается что-то и хоронит в тишине...»

# Содержание

|         |    |
|---------|----|
| Часть 1 | 4  |
| Часть 2 | 10 |
| Часть 3 | 11 |
| Часть 4 | 19 |
| Часть 5 | 27 |
| Часть 6 | 35 |
| Часть 7 | 43 |

# Леонид Николаевич Андреев Сын человеческий

## Часть 1

В одном великорусском небогатом селе жил старенький шестидесятилетний поп, по имени отец Иван Богоявленский. О том, как началась его жизнь, о годах его детства и юности не мог бы рассказать никто: сам он за давностью лет все перезабыл, а жена и дети, родственники и знакомые просто ничего не знали. И выходило так, будто у его жизни совсем не было начала – как не будет, вероятно, и конца. На коридор была похожа его жизнь, на длинный коридор, в котором множество глухих дверей: впереди открывается, а сзади захлопывается что-то и хоронит в тишине.

И чем дольше жил о. Иван, тем больше отдалялся он от людей и даже от самого себя. Когда-то ему казалось, что его знают все люди, весь мир знает его, и даже сам Бог внимательно следит за ним треугольником Своих очей; но вот прошло время, и его перестали знать, – в лесу все деревья похожи одно на другое.

Главною же причиною было то, что все поступки его были не те, какие надо, и все слова его были не те, какие надо; но об этом никто догадаться не мог, а сам он, если и являлось желание, так все же рассказать не умел: не было слов, какие нужны для такого странного и страшного рассказа. По виду был он низенький, сухой старичок, с реденькой, ощипанной злой бородашкой и темным, присохшим к костяку лицом; взглядевшись пристальнее в его нос, можно было заметить даже ту границу, где впоследствии образуется провал и исчезнет призрачное. Характер же у попа Ивана был скверный; часто злился поп Иван, ехидничал, при игре в карты заглядывал к соседям и вообще мошенничал, а детей в церковной школе драл за уши с жестокосердием.

И уже давно он начал проявлять некоторые странности. Так, лет за десять перед этим, когда его старший сын уже сам сделался священником, о. Иван вдруг пожелал переменить фамилию. Пятьдесят лет был Богоявленским, и отца имел Богоявленского и деда Богоявленского, и уже внуки от него пошли Богоявленские, а тут вдруг пожелал перелицеваться и выскочить из цепи, странным образом разорвав ее и концы оставивши в воздухе. Писал прошения, хлопотал, ездил в город и давал в консистории взятки, но ничего не добился, так как не мог представить уважительных

причин.

– Какой же я Богоявленский? – говорил он, раздраженно пощипывая бородку, но более обстоятельного объяснения представить не умел. И прошения свои писал он так:

«Нося от отца моего, как бы в дар, наравне с прочим наследственным имуществом, фамилию Богоявленского и не будучи по существу таковым, свидетельствуюсь перед Вашим Высокопреосвященством о моем непременном желании заменить сей неподходящий знак более вразумительным и к существу моему ближайшее отношение имеющим; при выборе же одного и не имея собственной мудрости полагаюсь на мудрость выше меня стоящих». И подпись следовала такая: «протоиерей Иван без фамилии».

В последних словах прошения было больше ехидства, нежели истинной скромности: уже заранее в потаеннейших мечтах своих он дерзко решил отказаться от всякой предложенной ему фамилии и просить для себя номер – пятизначное число, последняя цифра которого должна быть 9. И число он уже знал, но открыть его хотел только в конце.

Но до этого дело не дошло. Начальство посмотрело на просьбу хмуро, как на вредное чудачество, да и дети, особенно старший, Николай, были против перемены фамилии; и так и остался о. Иван – Богоявлен-

ским. Первое время он раза два рискнул подписаться в служебных бумагах: «протоиерей Иван Богоявленский по принуждению». Но, получив строгий выговор, отказался от дерзости.

Затем, уже совсем недавно, он выписал из столицы граммофон, хотя был скуп и никаких удовольствий, даже хорошего стола для себя, не допускал. Но духовных песен взять не пожелал, а потребовал от магазина светской музыки, какую играют на балах. Ему прислали мазурки, падекатры, лезгинку и даже гопака, и он слушал все это в одиночестве, – постороннего присутствия не любил. Потом выписал рассказы из еврейского и армянского быта; и часто ночью, когда попадья уже спала, в соседней маленькой комнатке, пугая, вдруг раздавался незнакомый гнусавый, страшно торопливый голос, точно катившийся по железу и временами путавшийся в своих собственных звуках. Нельзя было понять, о чем он говорит; и когда он начинал смеяться коротко и деловито, но с удивительной развязностью – попадья крестилась, поп же маленькими шажками прохаживался по комнате и многозначительно поглядывал в темные оконца, за которыми нерушимо и злобно лежала тяжелая осенняя деревенская ночь.

От этого граммофона сошел с ума щенок, которого о. Иван, толкаемый злым любопытством, пожелал

насильственно приучить к музыке и рассказам из еврейского быта. Сперва щенок довольно бодро лаял на граммофон и как-то особенно, по-собачьи, становился на цыпочки, чтобы заглянуть в трубу, но вскоре стал визжать, трясся от страха и недоумения и прятался под стулья и диван, застревая в узких местах, так как был толстенький. Но о. Иван, злясь, вытаскивал его за ворот мягкой, как бы на рост сделанной шубы и заставлял слушать незнакомый, торопливый голос, катящийся по железу. Случалось, что щенок начинал кружиться очумело: припадал на передние лапки, особенно на левую, и, стучаясь об пол большой, тяжелой головой, двигался по неправильным, полным ужаса кругам, – тут поп Иван делал ему передышку; но по прошествии времени снова заводил машину.

Делал он это настойчиво и безжалостно, и щенок таки не выдержал: сошел с ума. Он с недоверием и подозрительностью относился к каждому предмету, стоявшему молча. При всяком же голосе, звуке или песне приходил в состояние крайней тревоги и, фыркая, разыскивал голос не в человеке, а позади его. Потом начинал выть от ужаса и прятался в лопухах. По видимому, у него являлось временами желание разобраться в страшной путанице жизни или умилостивить ее покорностью: он вилял хвостом перед граммофоном и делал вид, что любит его, – но при первых же



звучах громкого зловещего шипения, предвещавшего наступление таинственного голоса, не выдерживал и бежал в лопухи. О. Ивана щенок боялся, как злого духа, начальника всех адских сил; и расти щенок перестал. Весной во время разлива щенок утонул в реке. очень возможно, что он покончил самоубийством, отчаявшись найти правду жизни. К гибели щенка все отнеслись равнодушно: в своем страхе и жалких виляниях хвостом он не был даже забавен и наводил скуку. Но о. Иван очень жалел, что щенок умер, не пройдя всего предназначенного ему пути: у о. Ивана был план, скорее мечта – свезти щенка в город и показать ему живую, движущуюся фотографию. Даже до бессонницы доходил маленький поп, яростно мечтая, как бы все это произошло: как бы ничего не подозревая, щенок смотрел на белую, светящуюся стену, и что бы он выразил на своем собачьем лице, когда по стене молча – совершенно молча забегали бы люди и собаки. Да, жаль, что умер.

## Часть 2

Со вторым и с третьим щенком дело не пошло: по-выли немного и стали равнодушны – по-видимому, не все собаки так чувствительны к граммофону, как был покойный. И особенно плох оказался второй из пробных щенков – кудлатый песик с желтыми, как янтарь, глазами: в самых сильных местах он задирает заднюю лапу и яростно, но по-детски промахиваясь, чесал себе за ухом.

И такое чувство было у о. Ивана, будто разбил он единственное зеркало и не во что ему теперь поглядеться.

## Часть 3

Еврейским погромам о. Иван очень радовался.

– Жидов надо бить, – говорил он коротко, с колючей сухой злостью, и делал ударение на слове «надо».

Но и тут подтвердить доказательствами своего мнения он не мог или не хотел, – его трудно было разобрать. Из граммофонного магазина он выписал, на этот случай, еврейскую музыку, и ему прислали какого-то знаменитого кантора, певшего с хором. Сперва о. Иван слушал его, по своему обыкновению, в одиночестве, ночью, но потом, как-то в праздник, устроил у себя большой съезд, пригласил соседнее духовенство и родственников и торжественно преподнес им кантора. Хотя в это время мода на граммофоны распространилась широко и почти у каждого состоятельного иерея имелся свой инструмент, но такой музыки не было ни у кого, и слушали со вниманием и смехом. Была одна такая песня, кажется, погребальная, в которой невидимый певец захлебывался скорбью – не плакал и не пел он, а кричал истово и безумно, как путник в лесу под ножом разбойника.

– Ай да жид! Как его разбирает, – говорили с восторгом слушатели, плохо понимая, в чем дело.

Отец же Иван, пощипывая бородку и закрыв глазки,

вслушивался бескровным ухом в отчаянные вопли и размышлял о том, есть ли у граммофона душа, или же одни только звуки. Но, во всяком случае, это было не то, что надо. Посмотрел испытующе на слушателей: кои бессмысленно гогочут, кои равнодушны и дремлют; косматый, хмельной о. Эразм Гуманистов закрыл глаза и сопит – вот-вот, кажется, поднимет ногу в тяжелом окованном сапоге и почешет себя за ухом. Не то. И разве только чахоточный дьякон – один-единственный среди собравшихся – обнаруживал признаки желаемого волнения.

– Ах, Боже ты мой, и где у него этот голос сидит? – с тревогою вопрошал дьякон и протягивал к машине указательный согнутый палец, но коснуться не смел. – То он тебе жид, то он тебе баба... А под собаку он может? Может. Нет, отцы, я бы этот граммофон истребил: уж очень он совесть тревожит. Подлец его выдумал, вот что я вам скажу, отцы.

Отцы посмеялись над невежеством дьякона, но потом серьезно заспорили, был ли изобретатель подлец или хороший человек. Но решить вопроса не могли; и всех смутило предложение попа Ивана – за неимением певчих поставить на клиросе граммофон с надлежащим духовным песнопением.

– Это идея! – сказал недавно окончивший семинарист, сын о. Сергия Знаменского.

Но сам о. Сергей раздумчиво покачал лысой головой и усомнился.

– Так-то оно так, но вот в рассуждении баб. Бабы не выдержат.

– Но а что такое бабы? – горячился семинарист. – Как можно в таком важном вопросе...

– Нет, не вынесут этого бабы, – настаивал о. Сергей. – Скандал будет. Нехорошо.

– Можно приучить, – отозвался о. Иван. – Эка, бабы!

– И что вы говорите, отцы? – беспокойно совался дьякон и тарачил большие, немигающие, застывшие глаза. – Тогда и вместо вас, отец Иван, можно граммофон поставить.

– Можно, – согласился о. Иван. – Отчего же нельзя.

– И вместо меня тоже граммофон? – волновался дьякон.

– И вместо тебя граммофон. – Поп Иван начал злиться. – Эка, подумаешь, птица какая: вместо всех граммофон можно, а вместо него нельзя. Еще лучше будет. И голос чище, и не совет, как ты. Тоже, артист!

Дьякон оскорбился и даже загрустил. Но при расставании поп Иван ласково потрепал его по плечу и отвел к сторонке.

– Ты не сердись, дьякон, я пошутил. Я тебя, отец дьякон, люблю.

– Ну, уж какая это любовь, – горько усмехнулся ча-

хоточный дьякон.

– Верно. Ты вот что, ты приходи-ка вечером, вместе будем граммофон слушать.

– Нет, уж увольте, отец Иван, – выставил дьякон обе ладони. – За ласку благодарю, а что касается граммофона, то я еще совести не потерял.

– Вот дурак-то – я тебе веселую поставлю.

– Нет, уж увольте. Мне душа дороже вашего веселья. О. Иван обозлился, и бороденка у него затряслась.

– Скажи пожалуйста... А еще есть ли у тебя душа-то, ты бы подумал. Может, пар.

– После такого возражения... – солидно начал дьякон, но поп у самых ног его плюнул на пол и зашаркал по плевку мягкой туфлей.

– Тьфу – вот твоя душа! Я, может, его больше вас всех уважаю.

– Его?

– Его.

– Граммофон?

– Граммофон.

Расстались в ссоре. Но дьякон был добрый и деликатный человек, и уже скоро его стала грызть совесть, что он обидел старика. Не выдержал и дня через три после гостей утречком пошел к о. Ивану извиняться.

Стояла поздняя весна, и на солнце было жаркова-

то, но чисто и приятно; а в домике у попа было душно, неряшливо и крепко пахло чем-то плохим. Уже два месяца у попа Ивана гостила замужняя дочь с грудным ребенком, и по всему дому стоял острый запах детских пеленок, которые она, не прополаскивая, сушила перед всеми печками. И похоже было на то, что со времени гостей ни комнат не убрали, ни полов не подметали.

– Чего надо? – спросил о. Иван.

– Да что, отец Иван: вы уж меня простите, не понял я вашей шутки, – покаялся дьякон.

– Садись.

Дьякон сел и со страхом покосился на никелированную трубу граммофона; вздохнул и перевел глаза на мокрые пеленки, развешанные на веревочке у белой кафельной печки.

– Вы уж простите, отец Иван.

– Бог простит.

Поднял кверху седенькую злую бороденку, крепко сжал сухие старческие губы – смотрит в потолок, поигрывает пальцами и молчит. «Э, да никак он нынче и не умывался», – подумал дьякон, и вдруг ему показалось, что в комнате запахло псиной, будто под диваном собака. Дьякон завозился на стуле и с надеждою взглянул на окно, где воля, – оказалось, что и зимние рамы еще не вынуты, и грязная вата с разбросанны-

ми по ней язычками красной и синей фланели лежит так тошно, будто от нее вся эта духота и жар. И еще явственнее запахло псиною.

– Вот и граммофон стоит, – развязно, в отчаянии, начал дьякон. – Какая удивительная вещь! Конечно, для высоких умов, которые ежели не останавливаются перед естественным и входят в рассуждение предметов... Но почему же, – вдруг возопил дьякон, – но почему же сдох щенок? Вы мне это объясните, отец Иван, потому что, говоря по чистой совести, как перед истинным Богом, я с вашей манерой не согласен.

Поп молчал и глядел в потолок на обуглившийся закоптелый кружок от лампы. И одет был поп не в одноцветный подрясник, а в какой-то цветной полосатый халат – поп не поп, татарин не татарин.

– Вразумите, отец Иван, – беспомощно настаивал чахоточный дьякон.

Но поп упрямо и зло молчал; только раз быстро взглянул на граммофон. За перегородкой громко заплакал младенец.

Дьякон горько усмехнулся:

– А под невинного младенца он тоже может?

– Может.

– Хм! – хмыкнул дьякон. – А ежели силы не хватит?

– Хватит. – О. Иван вдруг остро взглянул подслеповатыми глазками на дьякона и как будто усмехнулся.



– Но позвольте вам заметить, отец Иван, что у крещеного младенца душа невинна.

– Анна! – крикнул поп за перегородку.

Вошла высокая худая женщина с бесцветным, серым лицом и ошалелыми глазами; на руках у нее, широко разевая беззубый рот, заливался плачем младенец, сморщенный, красный, как старуха из бани.

– Живот болит? – коротко спросил о. Иван.

– Должно быть, живот: кто его разберет. Нынче всю ночь криком кричал.

– Садись.

Женщина покорно села, а о. Иван вдруг быстро подошел к трубе и начал делать что-то страшное. Зашипело. Дьякон привстал и слегка побледнел:

– Но позвольте, отец Иван...

Вдруг тот самый несчастный жид, которого резали на большой дороге, завопил истошным голосом прямо в нос, глаза и уши, так что у дьякона задрожали мозги. Младенец крикнул еще раз и замолк; а о. Иван немного брезгливо взял его из рук дочери и ближе поднес к трубе, – дьякон даже всплеснул руками. И от веселого ли блеска трубы, или от громкого голоса – младенцу вдруг стало весело, и он засмеялся. Засмеялся и поп коротким, злым, шамкающим смешком; и все это было так страшно: дикие вопли человека, которого режут, и беззубый, зловеще-веселый смех мла-

денца и старика, что дьякон поднялся и, не прощаясь, ушел. И никто не вышел его провожать, и пока он одевал верхнее платье, точно спяна теряя широкие рукава, за стеной кричал, надрываясь, несчастный жид. Бесшумной тенью выглянула из другой двери попадья и, словно не заметив дьякона или не узнав его, так же быстро и бесшумно скрылась назад.

Только в полверсте, на высоком берегу спадавшей после разлива реки, дьякон опамятовался: вспомнил, что у него чахотка и что нельзя распахивать грудь, когда ветер сырой, от воды; удивился, зачем он сюда попал – домишко его был рядом с поповским. И впервые в чем-то сильно и больно усомнился чахоточный, добрый и деликатный дьякон.

## Часть 4

Когда вышел указ о веротерпимости, о том, что каждый человек, недовольный своей верою, может переменить ее на другую, хворый дьякон затосковал и даже попробовал, как во времена здоровой юности, удариться в запой. Но ничего из этого не вышло: не было кружащего голову хмеля, а только кашель, только тупой, тяжелый, бестолковый угар. Однако пригласили о. Ивана, чтобы он усовестил пьяницу и отнял у него бутылку с водкой.

– Ты что это вздумал, а? – строго сказал поп Иван, отбирая бутылку. – Ишь, на донышке только осталось.

Дьякон уставил на него худое лицо, покрытое зловещей матовой бледностью, и безуспешно пытался попасть своим прыгающим взглядом в поповские маленькие зрачки – черные булабочные головки среди небольшого, круглого, зеленоватого болотца. Усмехнулся обидно – иронически и горько и дерзко возразил:

– А п-почему? – и вдруг глупо засмеялся: – Пойдем, батька, граммофон слушать.

– Ну и дурак!

– Нет, не дурак, а очень даже умный человек. Заводи машину.

Дьякон заплакал и вдруг ударил кулаком по столу.

– Заводи машину, а то расшибу! Я теперь на все пошел. Прикажете мать зарезать? – сделайте милость, сейчас зарежу. Мамаша! Пожалуйте сюда!

Но никто дьякона не боялся и веры его страшным словам не давал; поорал дьякон еще немного и заснул на полу, около кровати, – на кровати, в согласии со своим теперешним настроением, лечь не пожелал. И в этом никто ему не стал мешать; и только мамаша, старая убогая псаломщица, молчаливо принесла свою подушку и подложила под лохматую, бледную, пьяную голову. И она же в сенях поблагодарила о. Ивана – как-то боком, бесшумно схватила его сухую руку и не то поцеловала, не то так что-то благодарное сделала с нею. Старик ее не заметил, потому что и сам с обнародования указа находился в состоянии глубочайшей задумчивости и был рассеян.

И вот тут-то сказалась необыкновенная натура о. Ивана Богоявленского: прошло время, и все успокоились, и дьякон перестал пить, и об указе позабыли, как будто его не было никогда, – и только о. Иван что-то упорно соображал и выискивал. Вдруг снова послал не прошение, а дерзкое и заносчивое письмо с требованием об отмене фамилии. Вдруг совсем забросил граммофон и сперва велел вынести его на сеновал, а потом подарил его дочери, которая уезжала

с ребенком восвояси. Вдруг ударился в хозяйство, но и то как-то странно: вздумал скрестить хряка с яркой, горделиво мечтающей, что от этого противоестественного союза произойдет новая удивительная порода. А когда, кроме соблазна для всей деревни, ничего из этой затеи не вышло, в гневе приказал зарезать неповинного хряка – молодого, тощего, длинноногого мечтателя об иных краях и доле иной. И наконец зачем-то сам перед маленьким зеркальцем подстриг себе усы, так что обнажились сухие пергаментные губы; и было что-то наивное, немного ребячье, немного стыдливого, когда вышло на свет далеко и, казалось, навсегда запрятанное тело. Этот случай вновь жестоко смутил чахоточного дьякона; и хотя в мудрость о. Сергия Знаменского он не верил, и ехать было далеко, верст тридцать, все же отправился к нему с жалобой и за советами.

– Что же это такое! – жаловался дьякон. – Он же теперь и обриться может. Возьмет у писаря бритву да и обреется до голого тела – тогда что, а?

О. Сергей предался размышлению, но ничего придумать не мог.

– Нет, бриться не станет, – решил он больше для успокоения мятущейся души дьякона. – Как это можно!

– А вдруг обреется?

– Нет, – замотал головою о. Сергей. – Как это можно. Конечно, не обрется.

– Как вы это легко говорите, отец Сергей, – огорчился дьякон, – не обрется! Будь бы он спроста, тогда и говорить бы не стоило, я и сам, как помоложе был, усы себе ножницами подравнивал. Он с умыслом.

– С каким?

– А с таким, – многозначительно, но как бы равнодушно ответил дьякон. – Вот поживете, так сами увидите.

Лысина о. Сергия взмокла от волнения:

– Не смеет. На то канон есть.

– Нашли чем испугать! Очень ему нужен ваш канон. Раз человек на такое посягнул...

– На что «такое»? Ты, дьякон, говори толком, а не пугай, – не на трусливого напал.

Но дьякон и сам путем не знал, на что, воистину страшное и кощунственное, посягал поп Иван. И уклончиво, но не теряя достоинства, ответил:

– Я что ж? Я сам как бы жертва. А вот поживете, тогда слова мои вспомните.

Задумались.

– Намедни, – задумчиво сказал о. Сергей, – намедни наш староста, Василий Иваныч, политического преступника поймал. Хватить его за бороду, а борода-то в руке и осталась, а вместо бороды-то начисто голое

лицо, как у свиньи под Рождество. Вот оно.

Дьякон побледнел.

– Так: брал одно, а оказалось и совсем другое. А вы говорите – не посмеет! Да я и за свою бороду, если хотите по совести знать, пятиалтынного не дам, а не то что за попову. Раз на такое пошло, так и я могу у писаря бритву взять, мне не жалко.

– Да ты-то что? – рассердился о. Сергей. – Он-то хоть знает, зачем усы стрижет, а ты-то чего взбаламутился? Ведь не тебя стригут.

– Как вы это легко говорите, отец Сергей, – опять огорчился дьякон.

Но понемногу успокоился и даже как будто поверил, что не посмеет обриться поп Иван. Притворился спокойным и о. Сергей, но тяжкое сомнение осталось у обоих. И как ни совестно было дьякону, а время от времени под приличными предлогами забегал к попу, чтобы взглянуть на его бороду. Но все было в порядке, и о. Иван был тих и, насколько умел, обходителен; и наконец в доме не было граммофона – это уже совсем успокаивало дьякона и располагало его к душевной беседе.

– Помните, отец Иван, как я пьян-то был, а? – блаженно изливался он. – Вот дурак-то был. Спасибо, что вразумили – сдох бы я, либо в реку бы бросился, как ваш щенок.

– А теперь умный стал?

– Теперь я умный, – дьякон самодовольно вытаращил на попа свои застывшие, немигающие глаза, – теперь я очень умный. Нет, думаю, какая же это вера, когда ее менять можно – что же это такое, граммофон, что ли!

– Ну, ну, ты граммофон оставь, – сердито сказал о. Иван, – тоже выдумал с пьяных глаз.

– Ей-богу, граммофон, – настаивал дьякон. – То тебе жид, то тебе, как это сказать, католик, а то тебе... – дьякон захохотал, – мухаметанин! Ей-Богу!

Бороденка о. Ивана злобно затряслась:

– Ну и дурак!

– Конечно, дурак, – гоготал дьякон. – Как это по-ихнему: алла-балла... Соблазн! Нет, вы подумайте, отец Иван, до какого затмения дошел человек: я ведь по пьяному делу, со злости, конечно, ну и от водки тоже, веру переменить хотел. Ей-Богу. Мне теперь, думаю, все разрешено, и есть я не кто иной, как азиат. Я бы тогда, отец Иван, человека мог зарезать – что́ такое человек, а? Режу же я курицу или, скажем, поросенка – вот какие каторжные мысли, – вспомнить страшно.

– Умный ты, я вижу, человек, – сказал о. Иван невинно. – Такой умный, такой умный...

– Это я теперь, – сознался дьякон, – а прежде дурак был.



– То-то я и смотрю: и откуда такая красота? И откуда такой ум? Или это тебя мать таким родила, или ты с крыши головой брякнулся – понять не могу.

Дьякон немного забеспокоился от ласкового голоса о. Ивана.

– Мамаша у меня женщина слабая, – нерешительно сказал он.

– То-то я и говорю: не иначе как с крыши брякнулся. Тебе бы, дьякон, первым министром быть, или страны какие завоевывать: взял рубель и скалку и пошел чесать... Мазепа!

Дьякон окончательно удивился и почувствовал приближение обиды:

– Это кто ж Мазепа? Я?

– Ты.

– Мазепа?

– И Мазепа и дурак. И ни в какую веру тебя не примут, если б и просился. Таких, скажут, дураков у нас и своих много, подавай следующего.

– Это кого же следующего? Уж не вас ли, отец Иван? – бессильно съязвил дьякон.

– Что ж, может, и меня, – равнодушно ответил поп и уставился бородежкой кверху.

– После такого возражения, – солидно начал дьякон, вставая, но вдруг весь отчаянно заметался.

– Нет, это что же такое, какой же теперь я могу

иметь смысл? Щенок я вам что ли? Мне ваших булок с сахаром не надо, а вы мне скажите, как есть я человек мятежный: какой во мне смысл?

– Никакого.

– Нет, врите, отец Иван, – почти плакал дьякон, – смысл во мне есть, только его оформить надо. Вы мне голову не замолачивайте, а скажите уж прямо... – Дьякон нагнулся к о. Ивану и злобно, насколько мог, зашептал: – Усы-то, усы-то вы в каком отношении обстригли, а? И эта манера, а? И это тоже как будто ничего, а? В монастырь вас надо на послушание, вот что!

– В монастырь?

– Да, в монастырь.

– А это видел? – ответил о. Иван неприлично.

И опять дьякон ушел не попрощавшись и даже без шляпы; и только к вечеру, спохватившись, прислал за шляпой старуху-мать, но строго наказал ей ни поклонов, ни иного приветов попу не передавать.

А через три дня разразилась катастрофа: о. Иван послал в синод заявление, что, по требованию совести своей и на основании указа, он желает перейти в магометанство.

## Часть 5

Отовсюду съехались увещеватели и заселили тесный поповский домишко.

Приехал о. Сергей со своим дьяконом Агафангелом, но без жены – женщин на такое дело брать не годилось; поджидали с часу на час о. Эразма Гуманистова, школьного товарища попа Ивана, огромного старого пьяницу с львиными волосами и сизым носом. Появилась откуда-то засушенная старенькая попадья, словно для гостей ее вынули из зимней кладовки вместе с другими припасами, поила и кормила и ничего не понимала, но настроение имела тревожное. Особенно пугало ее то, что должны совершенно необычно приехать оба сына: старший – городской священник, и младший – семинарист Сашка. И целый день, не сходя со стола, бурлил самовар, и около него шептались и суетились люди, торопливо глотали чай и вздыхали, поглядывая на перегородку, точно за нею стоял покойник. А за перегородкою, прислушиваясь к тому, что делалось в этой комнате, и даже припадая изредка бескровным ухом к тоненькой двери, бесшумно похаживал неприступный о. Иван и пощипывал бороденку злобно, но неторопливо: торопиться было некуда.

Не выходил из поповского дома и чахоточный дьякон: он окончательно потерял всякое соображение и только безнадежно взывал. Попробовали с самого начала послать его к о. Ивану разведчиком, но ничего из этого не вышло: о. Иван с первых же слов выгнал его и даже на пороге ударил дьякона в спину сухоньким костлявым кулаком. Это все видели, и дьякону, помимо всего прочего, было нестерпимо совестно; он подергивал плечами, как будто его кусало между лопаток, и иронически ухмылялся.

Изредка кто-нибудь подходил к двери и осторожно стучал:

– Не хотите ли стакан чайку, отец Иван? Нерешительное молчание и потом ответ:

– Давай.

В узенькую щель просовывалась сухая старческая рука, в самих пальцах которой чувствовалась злая готовность ко всяческому бою. Но всех радовал ответ о. Ивана, как будто ожил покойник или запросил пищи тяжело больной; и нежно предлагали:

– Бараночек не хотите ли, отец Иван? Хорошие баранки.

– Нет.

– А войти можно? Мне бы, собственно, только на минутку, – умильно улыбался в стену о. Сергей.

– Нет. Незачем.

И только на второй день, очевидно, соскучившись без противников, поп разрешил о. Сергию войти. И, когда о. Сергей слегка боком втиснулся в приоткрытую дверь, дьякон даже скрипнул зубами от волнения.

– Здравствуйте, отец Иван.

– Здравствуйте, отец Сергей.

И больше ничего. Помолчали. Еще помолчали; за стеной, у самой двери кто-то густо в землю сопел – видимо, подслушивал. Это приободрило о. Сергия.

– А что, слыхали ль, отец Иван, – начал он весело и совсем издавека, – только не знаю я, правда это или нет, будто есть в Америке такие, которые называемые мурмоны или гурмоны...

– Не знаю.

– Как же, как же, есть! Мне соборный протодьякон рассказывал. И будто у них, не знаю только, правда это или нет, – заговорщически склонился он к самому лицу о. Ивана, – существует такое отчетливое понятие о таинстве святого брака, по которому можно иметь жен... даже до сотни. И вот думаю я...

О. Иван сострададьно покачал головой.

– Ну и глуп же ты, отец Сергей. Учили тебя, учили, а хуже ты всякого мужика. Мурмоны! Сам ты мурмон!

– Но по закону Магометову...

– Молчи уж – ты и своего-то закона не знаешь. А тоже – по закону Магометову!..

– Да ведь он нехристь, Магомет.

– А ты кто? Тоже нехристь. Только он откровенно все объясняет, а ты – плутуешь.

– Зарапортовались, отец Иван, – сухо отозвался обиженный поп.

– Ты что делаешь, когда солнце восходит? Храпишь, слюни носом пускаешь, а? А он тебе, как солнышко восходит, буря ли, непогодь ли – лезет на колокольню и самым громким голосом кричит: спать спите, а Бога не забывайте – новый день занялся. Это как по-твоему?

– Ничего особенного. А что касается сна, так при ихнем многоженстве...

– Ты понимаешь ли, что́ такое сон? Ничего ты, лысый, не понимаешь. А он в это понятие вник до самого существа. Спать, говорит, спите, проклятые, а Бога не забывайте! Что же касается жен, – о. Иван высокомерно взглянул на собеседника, – то жены нужны для потомства.

– А по-моему, это блуд, неистовство плоти.

– С тобой разговаривать, – рассердился о. Иван. – Ты это пойми: плохой тот хозяин, который семя держит в мешке, а не рассеивает его по полю. Это, брат, не я, это Магомет сказал.

О. Иван сочинил слова Магомета, но не заметил этого и победоносно задрал бороденку кверху.

– Покайтесь, отец Иван, – попросил о. Сергей. – Возьмите ваше слово назад. Подумайте: шестьдесят лет жили честно, благородно, сколько детей накрестили, сколько покойничков схоронили, внуки у вас есть, каково внукам-то; а жена-то ваша? Ведь если ей сказать про ваши планы...

В комнату неслышно протискался дьякон и мрачно стал у порога, – оба попа сделали вид, что не заметили его.

– По деревне гул идет, – продолжал о. Сергей слезливо, – бесчинство началось: не только бабы, но и мужики всякого смысла лишились.

Вступился дьякон.

– Это от граммофона, – мрачно сказал он. – Тут ничего не поделаешь. Совесть не выдержала, колесом пошла.

– Ну ты тоже! – недовольно отозвался о. Сергей. – Сам ты колесо.

– А почему сдох щенок? Господи, и на кого Ты нас покинул, – взмолился дьякон, – моченьки моей не стало, лучше бы мне у груди матери помереть, чем дожить до такого... Куда теперь идти? Одна дорога, что в кабак, что воровать.

– Соблазн! – вздохнул о. Сергей.

– Заранее говорю: вяжите меня, пока я не начал, – мрачно гудел дьякон, не отходя от притолоки, похожий

на телеграфный столб, – истощился я и гляжу беспредметно; и вскоре потеряю окончательный смысл.

О. Сергей указал рукой на дьякона.

– Глядите, что наделали, отец Иван. Аще, сказано, кто соблазнит единого от малых сих...

– От малых сих, – мрачно подтвердил дьякон.

– Тому...

– Тому, – вторил дьякон.

О. Иван вскочил и затопал по полу мягкой туфлей.

– Не желаю! – крикнул он. – Довольно посмеялись надо мною – кости повысушили. Не желаю! Вон!

Пришлось уйти. И опять в тишине бурлил самовар, и опять в тишине громко тянули чай с блюдечек и громко вздыхали. Дьякон попробовал было излиться перед о. Сергием, но тот строго пригрозил ему пальцем, и тишина восстановилась. Постучали осторожно к о. Ивану в дверь:

– Огня не надо ли? Не понадобилось; так и проходил о. Иван весь вечер в темноте, натываясь на стулья. Хотя дьякон жил рядом, но, ввиду тревожного времени, решил остаться ночевать; и попадая об этом просила. И уже когда укладывались все, о. Иван потребовал к себе попадю, – вышла она совсем запуганная и ничего не понимающая.

– Бритву просит, – заплакала она.

– Ужели резаться? – приподнялся с дивана полу-



раздетый о. Сергей.

– Голову брить хочет, – ответила попадья и горько зарыдала.

Стало страшно, и уже раздетый для сна дьякон начал вновь одеваться.

– Не-ет, – бормотал дьякон возмущенно. – Нет, это что ж такое? Нет...

– Откуда у нас бритвы? У нас бритв нету, – упавшим голосом сказал о. Сергей.

– Это он от злости, – пояснил Агафангел, знаменский дьякон. – Для противления.

О. Иван, подслушивавший сквозь дверь, что говорится, сердито постучал пальцем жену и громко, так, чтобы все слышали, приказал:

– Завтра утром Машку к писарю пошли – у писаря бритва есть.

И долго, когда все уже спали, ходил по комнатке, ядовито усмехался и ликовал: вот обрею завтра голову – тогда попробуй возьми.

Посмеивался. Но вдруг совсем ясно, как в зеркале, увидел свою голову обритой, и стало невыносимо страшно. Попробовал в темноте свои волосы – вот они, сухонькие, мягкие и, когда их так пробовать, совсем чужие. Отец Иван зажег лампу, но страх не проходил: комната была чужая. Он первый раз видел эту комнату; он никогда не был в этой комнате, он не знал

этой комнаты совсем; а за стеною страшно и незнакомо храпел дьякон, которого уговорили остаться. Подобрал поп подрясник, похожий на халат, и тихонько, мимо спящих, пробрался к попадье.

– Спишь? – шепотом спросил он.

– Нет, – шепотом ответила попадьья.

– А я думал – спишь.

– Нет.

Долго придумывал: как бы устроить так, чтобы посидеть возле близкого человека. Попадья ожидала – в молчании и страхе.

– Ты вот что... ты принеси-ка мне чего-нибудь поест. Огня не зажигай – не надо.

– Да как же без огня – я себе лоб расшибу.

– Ну, ну, не расшибешь.

Сидел на кровати и долго ел что-то, не разбирая вкуса.

– Колька завтра приедет?

– И Коля и Сашенька. Ты что это, отец, а? Что с тобою, а?

– Ну, ну, молчи.

Пожевал-пожевал в темноте беззубыми деснами, попалося что-то твердое, должно быть, корка, – сердито выплюнул. Вздохнул и тихонько мимо спящих побрел к себе... Поп Иван, поп Иван, – куда ты идешь?

## Часть 6

В обед приехал о. Эразм Гуманистов, а к ночи прибыли и сыновья о. Ивана. Дорога была трудная, весенняя – ни на санях, ни на колесах, и о. Эразм чуть не утонул со своим Ермишкой, перебираясь через маленький овражек: ноздреватая, как мокрый грязный сахар, дорога лежала ровненько и будто устойчиво, а когда въехали, провалились в текучую воду – ибо уже проточила весенняя вода целые пещеры и понастроила снежных арок. По счастью, выбрались, только промокли сильно, да рукавицы с кнутом поп потерял, а уж когда подъезжал к Богоявленскому, хватился – и шапки нету. Раньше не заметил, так как был, по обычаю своему, весьма нетрезв.

Даже не высушившись по-настоящему, а только освежив горло стаканчиком водки и закусив ее горячим жидким чаем, о. Эразм ввалился к старому другу. Состоя на особых правах, он и разрешения войти не спросил, а просто вошел и смял маленького попа в тяжелых, немного пьяных, но теплых объятиях.

– Ты что это надумал, Иван, какие еще новые штуки? Голова-то еще не выбрита?

– Дверь затвори, – сухо сказал о. Иван. – Да не ори: не на волков собрался.

О. Эразм послушно закрыл дверь и сразу, как и все, входившие к о. Ивану, почувствовал томительность и даже как бы умышленность положения. Простые слова не годились, а непростые – и не давались и были слишком уж непросты для белого дня, низенького протертого дивана и восседавшего на нем сухонького, вчерашнего и позавчерашнего попа. И сразу, как это бывало с ним, о. Эразм Гуманистов впал в сильное расстройство и от буйного натиска перешел к тихому и горькому недоумению. Запустил пальцы, как вилы в сено, в бороду, повертел, с трудом выдрал назад и неожиданно спросил:

– Злишься, Иван?

– Злюсь, – с такой же неожиданной откровенностью ответил сухонький поп и пошамкал торопливо обнаженными пергаментными губами. – Злюсь.

– А ты не злишь, – посоветовал друг. – Поскандалил – ну и довольно, надо и честь знать.

– А ты не ври! Что, я именинник, что ли – какой тут скандал?

О. Эразм вздохнул.

– По указу?

– По указу.

– В указе этого нет, чтобы в магометанство.

– Прибавят.

– Вот ты как зарядился! А я, брат, было, в канаве

утонул. Вот чудеса!

– Что ж, и в канаве утонешь, и на сухом месте утонешь, когда предназначено, – спокойно согласился поп Иван.

– Ну и зарядился! – качнул головой о. Эразм. – Дьякона-то видел? Мается честная душа, как кошка перед родами. Говорю: «Выпей водки, Зосима». – «Нет, говорит, вы мне лучше смолы расплавленной в горло влейте». Вот какой! Что тут у вас, видение, что ли, было?

О. Иван злобно прищурил глазки и долго шамкал губами, задрав реденькую бороденку.

– Дураки вы с дьяконом.

– Дураки! – рассердился о. Эразм и побагровел. – Сказать легко, а ты докажи. Эка! А по-моему, так и ты не совсем умен, если доказать не можешь.

– Я-то докажу. Как твоя фамилия? Отец Эразм Гуманистов. Ка-ка-я фамилия! – с наслаждением протянул о. Иван. – Ты чем с такой фамилией должен быть? Философом, богоосмысленным искателем истины воссиянной, – а ты кто? Пьяница, ротозев, в канаве было утонул.

– Это верно, – насупился о. Эразм, – насилу вылез.

– Я тебе докажу! Сделайте милость, вот завтра я мою кобылу Наполеоном назову – тебе понравится это? Да скажу: вези, скажу, Наполеон Эразма Гумани-

стова в грязную канаву. Каково?

Помолчали. Слышно было почему-то, что дьякон делает безуспешные перед самим собой попытки проникнуть в комнатку – даже содрогание руки его чувствовалось, когда он брался за ручку.

– Не пьешь ты, – задумчиво сказал о. Эразм.

– Не могу, – также задумчиво ответил о. Иван. – На-тура не принимает.

– А пробовал? – с некоторым отблеском надежды осведомился Гуманистов.

– Чего там пробовать, не вчера родился. На рвоту позывает, и мысли полошатся, но без последствий.

– Да, плохо твое дело! – пожалел о. Эразм. – А е-сли б, скажем, в католичество попробовать, либо че-го лучше – в старообрядчество. Архиереем тебя сде-лают, по возрасту. Чтобы не сразу, а... – Обязанный своей фамилией к мудрости, поп затруднился, – а так, чтобы в последовательности времен. *Consecutio temporum*<sup>1</sup>.

– Нет, сразу.

О. Эразм походил по комнате, удрученно вздыхая, и нежно погладил друга по седеньким сухим волосам:

– Эх, Ваня! Стары мы с тобою: жалко мне тебя. Вот сыновья твои, слышно, едут, Колька едет, а там и в го-род тебя повезут с колокольчиками. Не миновать те-

---

<sup>1</sup> Последовательность времен (*лат.*).

бе, Иван, мученического венца.

– Это еще посмотрим!

О. Эразм совсем расстроился:

– Запрячут тебя в клеточку, как канареечку, и будешь ты свиристеть таково жалобно: братия вы мои, да сестры вы мои, да отцы вы мои небесные...

– Уйди, – коротко приказал о. Иван.

И опять бурлил самовар, и совсем охмелевший о. Эразм вел жестокое словопрение с о. Сергием по вопросу о ценности разных вер. Невнимательно и даже высокомерно слушал их дьякон, изредка вставляя: «Не то, отцы, совсем не то», и колебался перед водкою; а у тоненькой двери подслушивал разговор о. Иван, и все его лицо, собравшееся в сеть злых морщинок, выражало одно непреодолимое: «Не то, отцы, не то». А уж собрался и народ на улице: близко не подходили, не то боялись, не то мешал палисадник, но с другой стороны улицы неотступно глядели в маленькие серье оконца и гадали: где поп. С наступившими сумерками везде в поповском доме загорелся свет, и только два окна остались темны и притворно безжизненны. И если раньше их было страшно, как внимательных глаз, то теперь стали они еще страшнее – на чуткие уши теперь походили они.

Присматривался к народу и, поп Иван: к самому окну не подходил, а издали, на ходу, бросал короткие,

острые, злые взгляды. Безмерно возмущали его эти серые, малоподвижные немые пятна, каким-то непостижимым образом присосавшиеся и к окнам, и к жизни его. Слились с сумерками, но не исчезли, а только переменили образ; наступит ночь, и еще иной новый образ примут они покорно – но не уйдут – но не исчезнут – но не оставят...

Наконец приехали и сыновья. Старший, о. Николай, молодой, но уже полный, в хорошем полупелюшечном подряснике и с широким расшитым поясом: уже успел приобрести в городе почитательниц и щедрых молитвенниц из купеческого звания; был он обеспокоен до чрезвычайности, даже полные, белые, обцелованные руки дрожали. Младший, семинарист, и ростом и лицом похожий на о. Ивана, весь смерзся, как навага зимою, но отошел быстро и без содроганий; от всего происходящего, даже от жестокого холода, он ощущал видимое, слегка насмешливое удовольствие: смеялся опущенными глазами и не то презирал всех, не то, вроде отца, готовил свою, особенную штуку.

– Ах, Боже мой, что же это такое, – говорил Николай, с отвращением смотря на пьяного о. Эразма. – Вчера зовет меня преосвященный: ваш это, спрашивает, отец, который...

– А ты чей, сказал? – тихо осведомился Сашка. Ни-



колай с негодованием взглянул на брата.

– А тут еще этот ввязался, с-смола! Взял ты у меня полтинник или нет?

– Нет, не брал, – спокойно ответил Сашка и прихлебнул из блюдечка.

– Вот видите! Да как же ты не брал, когда я перед самым твоим отъездом по твоей просьбе, мерзавец ты этакий, в самую руку вручил монету?..

За дверью послышался как бы смешок, а может быть, и кашель – но все стихло.

– Папаша! – нежно постучал в дверь Николай. – Разрешите войти.

Но ответа не последовало. И так раз до десяти подходил, терзаясь, и нежно постукивал Николай, но ни единого ответного звука извлечь не мог. Попробовал было сам приоткрыть незапертую, без крючка, дверь, но тотчас же невидимая рука быстро и злобно захлопнула ее, – очевидно, поп был настороже. Сашка громко и откровенно захохотал, а попадья заплакала:

– Ведь с утра ничего не ел, в чем душа держится.

Уже к ночи разрешил о. Иван войти. И так много ожидали от этого разговора, что разбудили заснувшего о. Эразма и послали за дьяконом, который побежал за табаком к себе домой и что-то застрял там, – и все с напряжением смотрели на перегородку, за которой невнятно, видимо, желая укрыться от посторонне-

го слуха, по-голубиному мягко гурковал Николай. Но только один голос, другого же слышно не было.

– Ты чего ухмыляешься? – сердитым шепотом спросил Сашку о. Эразм.

– Да что вы, и не думал, – нагло солгал Сашка.

– У, ехида! Отца бы пожалел.

Сашка опять откровенно засмеялся и как-то очень нехорошо окинул всех взглядом. Вдруг вынул папиросу и закурил, и дым пускал колечком, как будто был барин и ехал в первом классе для курящих. Но не успел о. Эразм осмыслить этой новой дерзости, как за перегородкой что-то застрекотало, зашумело, заговорило, и почти тотчас же в двери показался Николай, очень, даже до невероятия бледный. Сел на первый попавшийся стул и невнятно промолвил белыми губами:

– Проклял.

– Да ты что! – ужаснулся о. Эразм. – На нем же сан, что ж тебе делать теперь?

– Не знаю. Проклял, – улыбнулся Николай, и вдруг из больших, светлых, глупых глаз его закапали градинками слезы на молодую еще бороду, на расшитый богатый пояс, на полушелковый подрясник.

## Часть 7

Тою же ночью пришел к попу Ивану, по своему единоличному усмотрению, чахоточный дьякон.

– Не выгоняйте, отец Иван, – тихо попросился он. – Меня теперь нельзя выгонять.

Поп Иван, чутко дремавший на диванчике и совсем одетый, молча приподнялся и сел.

– Говори.

– Можно огонь засветить? Боюсь я.

– Засвети.

Дьякон зажег лампочку.

– А закурить можно? Чистая во рту слизь, и такое у меня состояние, что минуты не могу без папиросы. Вон все спят, а я один брожу, собак пугаю, – тихо улыбнулся дьякон. – И Николай ваш спит.

Поп насторожился:

– Спит?

– Заснул. Это верно, отец Иван, что вы его отеческого благословения лишили? – Верно.

– Я и говорю, что верно. Тут ошибки быть не может. Как он плакал, отец Иван. Так рыдал, так рыдал! По-еду, говорит, завтра в город и сан с себя сниму; теперь, говорит, не могу я войти в алтарь, и остается мне теперь умереть под забором без покаяния, как блудно-

му сыну. Отец Иван, отец Иван, почто восстали вы на сынов человеческих?

– Я сам сын человеческий.

– Боже мой, Боже мой! – тосковал дьякон. – Читаю я наемдни: «всуде мятется всяк земнородный», – и вдруг меня осенило: да ведь это про тебя, Зосима. А ежели это про меня, так веда это же значит конец. Кому же верить мне теперь? Есть у меня и жена, и дети у меня есть – а к чему? какой в них смысл? Дунул – жены нету, дунул – нету и детей. А может, и меня самого нету. Ведь у меня болезнь, отец Иван, – покорно вздохнул дьякон.

Поп молчал, нахмутив брови и смотря в пол, но слушал внимательно. И лицо его не было ни злобно, ни колюче – усталым было оно и мертвенно-сухим, как лица очень древних, сухоньких, долго сохраняющихся старичков, у которых жизнь, обнявшись со смертью, приемлет какие-то особые, устойчивые формы. Странное, многомысленное, тайною покрытое лицо: и для угодника оно годится, и для убийцы, вырезавшего ножиком целую семью, разбойника и татя.

– Не отчаивайся, дьякон, – тихо сказал он.

– А вы-то разве не отчаиваетесь, отец Иван?

Лицо попа сразу ожесточилось, и бородака начала подрагивать.

– Я не отчаиваюсь. Я знака ищу.

– Но какой же знак! – волновался дьякон. – Нету же никакого знака: ведь он же все вам разъяснил.

– Кто? – удивился о. Иван.

Дьякон молча и со страхом указал на то место, где прежде стоял граммофон. Поп Иван хотел засмеяться, но взглянул в испуганные, почти остановившиеся глаза дьякона и отвернулся.

– Он тут ни при чем, – сказал он, но как-то очень неопределенно.

Дьякон прошептал:

– У меня мысли.

– Говори.

Дьякон подвинулся ближе.

– Может, он под святого угодника? Но скажите мне достоверно.

– Может, – ответил, подумав, о. Иван, быстро взглянул на дьякона и снова отвернулся.

– Так, – вздохнул дьякон, как бы умирая или лишаясь чувств. – Та-а-к... Вот она, правда-то. А-а-а-а, может, он – может, он...

– Молчи, – быстро приказал поп. – Молчи!

И одновременно представилась им ужасная, недопустимая, все основы правды потрясающая возможность: как из никелированной трубы звучит кто-то неземным голосом Иисуса Спасителя. И те же слова говорит; голос, слышать который не может, не смеет,

не должен человек иначе как в час смертный, пред святынею смерти и души окрыленной. С последним, уже нескрываемым ужасом смятенных душ неотрывно глядели они в глаза друг другу, и густое облако, белое, мягкое, глухое, как вата, окутало их. Окутало – и оторвало от стен, от земли, от жизни, и каждому видны были только два глаза, только два страшных человеческих глаза, безумных и правдивых в неисчерпаемом ужасе своем.

– Я пойду, – слабо, задушенный ватой, прозвучал голос дьякона.

– Иди, – так же бескрыло и слабо прошумел ответный голос, и ужас сомкнулся над головой, как темная, спокойная вода.

Наступило утро, и на тройке с колокольцами, как и предсказывал о. Эразм Гуманистов, прибыл чиновник с поручением – допросить о. Ивана и, буде старик от мечтаний своих не откажется, привезти его в город. Вырывалась жизнь Богоявленского из круга заколдованного и высоко в пространство бросала новую и прямую линию свою – оборвался жужжащий камень и полетел стремительно.

Измученный неудобствами и тяготою весеннего пути, чиновник уже заранее решил не вступать с о. Иваном в продолжительные объяснения, а просто взять его и отвезти в город: там скорей рассудят. Да и поп,

видимо, не склонен был к беседе: сухо, почти невежливо выслушал скучные городские слова форменной фуражки и, не давая чиновнику ответа, призвал жену, – чтобы снарядила в путь. И все присмирели. О. Сергей, под предлогом, что его ожидают требы, быстро собрался и уехал; дьякон еще с утра, до приезда чиновника, ушел куда-то в поле и так и не возвращался – и на долю полупьяного, смущенного Эразма Гуманистова выпала мучительная обязанность заниматься разговором образованного и страшного гостя.

«Действительно, Гуманистов», – думал он с безнадежной иронией, не находя ни слов, ни мыслей, ни даже приличного лица – глядел на чиновника и как в зеркале видел в его холодных зрачках свой огромный, сизый, постыдный нос. Попробовал вовлечь в ученый разговор семинариста Сашку, но тот не поддался и с видом безграничного равнодушия к страданиям о. Эразма пожирал одну за другою горячие булочки: уже успела попадья напечь их для своего младшего.

Николая почти не видно было, прятался он где-то и шушукался с матерью, о чем-то ее умоляя. Потом пропал, и только перед самым отъездом чиновник видел в оконце, как Николай, раздетый, в одном полушелковом подряснике, с расчесанными кудрями, горевшими под весенним солнцем, мановением руки разгонял

столпившихся у дома, как при выносе покойника, мужиков и баб.

Подали лошадей: две пары и одну тройку для чиновника. Засуетились, попадья залилась слезами, бабы полезли к окнам. Вышел из своей комнаты, где он так долго отсиживался от врагов, поп Иван, одетый уже совсем по-дорожному в огромную медвежью шубу, в которой его маленькое тельце терялось, как узкое маленькое веретено в клубке растрепанной пряжи. Ни на кого не глядя, ни на жену, ни на о. Эразма, уже приготовившего нерешительные объятия, поп проследовал к дверям, – как вдруг преградил ему дорогу Сашка.

– Чего тебе? – сухо посмотрел о. Иван. И Сашка громко отчеканил:

– Папаша! Позвольте от лица нашего класса выразить вам сочувствие.

– Поблагодари, – коротко ответил о. Иван и вышел. В доме же поднялся переполох, произведенный Сашкиной мальчишеской выходкой: чиновник пожимал плечами, выслушивая объяснения Николая, а о. Эразм бестолково наставлял крайне довольного собою Сашку.

– Скажите, какой депутат! Драть тебя нужно за твое сочувствие со всем твоим классом – депутат!

А тем временем о. Иван стоял на улице и ждал над-



менно, в какую повозку прикажут садиться; и, как покойника, с любопытством нестерпимым, разинув рты от натуги, разглядывали его мужики и бабы. Он же глядел поверх голов на переломленный князек Самойловой крыши, той самой крыши, которая в своем диком сходстве с двугорбым соломенным верблюдом уже лет пятнадцать неизменно предстояла его взорам.

Наконец усадили о. Ивана. Сын Николай, у которого от слез запухли глаза и крупчатое лицо покрылось красными пятнами, с безнадежной услужливостью подтыкивал веретье, запахивал отцу полы и закрывал ноги сеном, труся его дрожащими пухлыми пальцами.

– Дорогой холодно будет, папаша. Солнце-то оно обманное – никакого тепла в нем нет. Позвольте вашу ножку.

С тою же надменностью, словно совсем не замечая сына, поп отдавал то одну ногу, то другую я глядел поверх дуги. Не обратил как будто внимания и на то, что Николай вдруг громко захлипал, заплакал и, имея руки занятыми, пытался вытереть слезы о свое же плечо. Но внимательные бабы заметили и прослезились.

– Как Николай-то убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!

– Не видать ему теперь своего папашеньки.

– Какое видать! Дай Бог, если самого на колокольне

не посадят.

– Распотрошился поп.

– Николай-то как убивается! Ай-ай-ай-ай, как убивается!

Отчаянно взмахнув рукой, Николай крикнул:

– Трогай!

Но не успели лошади сделать и двух шагов, как с тем же отчаянным жестом Николай закричал:

– Стой! Стой!

Разбрызгивая лужи и завязая в грязи, подбежал к повозке и схватил отца за рукав:

– Папаша, перед домом-то... Я же тут родился, папаша. Снимите заклятие, снимите! На колени стану!

Он, действительно, как был в шелковом подряснике, так и опустился на колени в грязь.

– Снимите. Даже не как отца, а как священнослужителя... прошу... прошу. Папаша!

Отец Иван сердито крикнул:

– Трогай!

Но кучер не послушался; и, ударив кучера кулаком в спину, о. Иван закричал:

– Трогай, тебе говорю-у!

Лошади тронулись. Еще одну минуту стоял на коленях Николай, бессмысленно взывая: «Перед домом-то, папаша, перед домом-то», потом без шубы, грязный, полез в первую попавшуюся повозку; потом

его одели и посадили уже как следует с чиновником, который, видя отчаяние его, взял на себя задачу разговаривать его и утешить.

И поехали они. Голося колокольцами и бубенцами, нагоняла чиновничья тройка уехавшего вперед о. Ивана, а позади, не торопясь, плелся Сашка. Село было длинное, версты на две, и долго проезжали его; но ни разу не оглянулся поп Иван, не ответил на поклон, на чей-то громкий привет не ответил – будто по чистому полю или лесом глухим ехал он; как задрал вверх бороденку, садясь, так и держал ее: ни направо, ни налево, а все прямо и вперед к далекому, неизвестному, многообещающему знаку. Думал ли он вернуться в село, или же, ополчившись на сынов человеческих, надменно отрицал кривые избы, мужиков, самую грязную землю, по которой с великим трудом влеклась колымага, – он был тверд и злобно решителен. Не торопился и не медлил, а ехал так, как везли, и туда, куда везли; не приближал событий, но и не отдалял их, зная, что придут события в свое время и уйдут события в свое время, и длинная череда их завершится искомым знаком.

Начался большак: голые ракиты с корявым толстым стволом, похожим на воткнутую в землю большую черную кость, с пучком розог, скользивших к солнцу на вершине, потянулись по сторонам – и на ракиты

не взглянул поп Иван: ракиты, завязая в грязи, шли назад, а он, завязая в грязи, двигался вперед. Когда дурачливый работник, он же кучер Евстигней, вместо опасного, полурассыпавшегося моста через канавку стал искать еще более опасного брода, – то и тут не вмешался поп; пожалуй, и утонул бы в канаве, если бы подоспевший на тройке Николай собственноручно не вывел лошадей на мост. Но, о чем бы ни думал поп Иван, меньше всего размышлял он о Магомете, во имя которого готовился принять свой мученический венец.

Сашка сильно отстал и уже начал застывать с ног, как рыба с хвоста, но не беспокоился этим. Курил папироски посиневшими губами, щурился на яркое, но холодное солнце и самодовольно готовился к великой встряске в семинарии; и уже проступала на подбородке реденькая, как у отца, светлая и решительная борода.

*12 февраля 1909 г.*